**РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ**
КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Алексей МАКУШИНСКИЙ

# *СВЕТ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ*

*Стихи*

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2007

УДК 821.161.1–1
ББК 84(2Рос=Рус)6–5

**Макушинский А.**

Я77 Свет за деревьями. — СПб.: Алетейя, 2007. 95 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 5–89329–865–9

В книгу живущего в Германии поэта и прозаика Алексея Макушинского вошли стихи, в основном написанные в последние годы и частично опубликованные в журналах «Арион», «Зарубежные записки», «Интерпоэзия», «Звезда», «Крещатик».

Приверженность классическим русским и европейским традициям сочетается в его стихах с поисками новых путей и неожиданных решений.

**УДК 821.161.1–1**
**ББК 84(2Рос=Рус)6–5**

© А. Макушинский, 2007
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2007

## Об этой книге

Свет за деревьями, идущий, как снег, летящий, льющийся свет, снег, всюду, сюда, всегда, не слабеющий свет. Это могли бы быть строки из стихов Алексея Макушинского. Близко, но не совсем. Интонация, метод улавливаются. Но в том-то и дело, что свойство настоящих стихов — их летучесть, газообразность. Думаешь — поймал, но сведенная кисть руки сжимает, как обертку, пустую оболочку улетевшего звука. В этом и есть оригинальность, неповторимость автора. Слышно многое, отзвуки, «шум времени», но за ним — голос автора. Голос Алексея, читающий тексты одного из своих лирических героев, слышится в каждой строке: волнистый, волнующийся, московский, акающий, но с германской интонацией «безродного космополита».

Впрочем, столь же безродного, как и его «земляк» Тютчев, как Набоков, Адамович, г-н Пнин, герр Кафка. Прочная, солидная языковая почва мастеровитого прозаика служит лишь взлетной полосой для легких летательных аппаратов строф свободного стиха автора, в свободном полете составляющих исчезающие письмена в облачном небе Баварии.

Жесткость и регулярность строки в части стихов служит скорее эхом ритмики Филипа Ларкина и Одена (в неуловимом переводе звука), чем

отзвуками барабанной пальбы плаца российской поэзии. Метафоры порой подвигаются ближе к краю — и замирают, боясь сорваться в метафизические пропасти Рильке.

Явный историзм поэзии Макушинского — это попытка противостоять потоку антивремени, очертить на карте наше поле истории, имеющей пока еще какой-то здешний смысл. Это — противоборство страху энтропии надвигающегося «заката Европы».

В этой исторической, а для поэта значит и личной, ситуации — стихи это единственное, что остается. Поэт Алексей Макушинский заметил свет за деревьями и поймал его отражение, вопреки законам физики, согласно беззаконию лирики.

*Андрей Грицман (Нью-Йорк)*



*Памяти Марка*

Hier ist des Säglichen Zeit, hier seine Heimat.
R.M.Rilke



## ДРУГОЕ НАЧАЛО

«Какое счастье умирать в Париже,
в больнице, в бедности, в мученьях... Смерть
есть смерть. Но все-таки: какое,
должно быть, счастье умирать в Париже,
в больнице, не в бараке, на матрасе,

не на вагонке». Я же смотрю на эти огромные
облака, проплывающие над миром,
эти площади, разбежавшиеся булыжником,
эти статуи на мосту. Я живу здесь.
Здесь, в Европе, в послесловии к прошлому.

Еще тени их проходят сквозь синее утро,
еще гул их прогулок медлит под этими сводами,
еще шепчет щебень о них в этих парках,
теченье рек продолжает их строки.
И ангелы улетают сквозь провода,

и сливки бискайских волн бьются в вафельный берег,
и дубы, и ясени шумят о загнанных, изгнанных.
Я обязан им всем, я бы не был, не будь их.
Никто не гнал меня, я сам выбрал это
движенье во времени, приближенье к небывшему.

Потому что все, никогда не кончаясь, закончилось.
И ясно видишь, глядя на облака и на площади,
как все соборы Европы, все ратуши,
все колонны сходятся, очень медленно, к гавани,
готовясь к отплытию, начиная другую историю.

*20 октября 2003*



* * *

Города, которые проехали мы в то лето,
обведенные тобою на карте,
Dieppe, Honfleur, Calais, его граждане,
идущие через площадь.

И похожие на площади гавани,
гавани, качание лодок,
*фрукты моря*, разложенные в витрине,
мачты, клонящиеся друг к другу.

«Ничего, в общем, нет, только это
качание, эти блики —
*toutes ces choses pensent par moi, ou je pense par elles* — ,
огромность воздуха, облака».

И где-то, на какой-то окраине,
солнце, пыль, трупный запах,
бесконечная, низкая, красная
стена скотобойни.

*7 июля 2003*

* * *

И даже не то удивительно, что я сам,
когда-то клавший на рельсы большие гвозди,
чтобы колеса отходящей от станции

электрички сплющили их в подобие ножика,
сижу и пишу сейчас все это, называя
себя собою, как называл я

себя в тот летний, нежаркий, долгий,
с облаками над насыпью, день, когда я
в сухой и серой траве, среди

камней, кульков, обрывков газет, искал
но так и не нашел отлетевший
неизвестно куда, блеснувший

и звякнувший обо что-то железное, гвоздь, и даже
не то, что он лежит еще, может быть,
где-то там, в траве, под насыпью и облаками, но что-то

совсем иное, конечно же, удивительно,
чему я и тогда уже удивлялся,
поднимая голову, прислушиваясь

к издалека нараставшему шуму другого поезда.

*6 июля 2003*



* * *

Я даже не дожил еще до того
возраста, в котором был мой отец,
когда я родился. Вот здесь повернем налево,
поедем по автостраде.

Все начинается заново, каждый день,
начинается заново. Далеко мы
заехали. Город, сожженный солнцем.
Часы на башне. Воскресная пустота.

Как все это хочет быть сказано, эти улицы,
еле дышащие от жары, эта площадь
с ее расписанными фасадами (на одном из
коих — Святой Христофор,

несущий на плечах свою ношу), река
с безумными ее бликами... Мой отец
тоже начинал очень поздно. Жизнь тоже
делилась для него на две части.

Начиная вторую часть, вспоминаешь
начало первой. Вот так же тени
лежали на тех тропинках, как в этом парке,
где мы пьем кофе, прежде чем ехать обратно.

* * *

Свернуть с автострады, заехать в какой-нибудь маленький
город, где-нибудь во Франконии:
с дворцом и парком, пустынными улицами,
группой разноцветных велосипедистов на площади
перед церковью;

прочитать на сером обелиске имена погибших во время
первой и второй войны; заглянуть,
на мгновение, в местный
музей с черепками, доспехами, портретом маркграфа;

зайти в кафе, где с пятидесятых
годов ничего, конечно, не изменилось,
выпить (очень плохой, очень кислый) кофе, съесть пирог,

к примеру, с рабарбарой, записать эти строки.
Какая печаль и какая заброшенность.
Какое спокойствие. Как не хочется умирать.

*22 августа 2003*



## UT PICTURA POESIS

Так Сезанн подходил все ближе к своей горе —
до которой дойти невозможно, хотя она и
видна отовсюду, из любого окна, из окна
любого поезда, плывущего по равнине,
над всеми крышами всех городов. Так и эти
немые холмы, эти камни, их тени
на траве — это та же гора. И, конечно, деревья —
горы... Мы кладем слой за слоем —
слов ли, красок. За слоем слой мы, на самом
деле, снимаем, подходя все ближе к тому, до чего мы
не дойдем никогда, что всегда уже с нами.

*27 июля 2006*

* * *

Так много снега, как снега только
бывает много. Сплошные
сугробы, сумерки, отсветы на снегу.

Как полыхает все это, стены, крыши.
Как снег краснеет, синеет, тает.
Прийти домой и зажегши лампу

читать сливающийся со снежным
мерцаньем рассказ о давних
бунтах и казнях. Никто не спросит,

что ты читаешь. Все неизвестно
куда ушли. И ты сам уходишь
по этим строкам, еще не зная,

в свои одиннадцать лет, что так и
будет потом всю жизнь, что дальше
и дальше будешь ты уходить куда-то

и от чего-то. Над колокольней
кричит ворона, выходят люди.
Так много снега, как снега только

бывает много. Скрипят ворота.
Выходят люди, проходят тени.
Все повторяется, сны и казни.



Как долго едем мы, все мы едем.
Не много правды, но много злобы.
Не бось, доедем, не зарекайся.

Доносы, пытки, стрельцы и страхи.
Краснеет снег и краснеет небо.
Стрельцы и страхи, костры и плети.

В Голландии верфи, каналы, грахты.
В Вестфалии города и замки.
Я никогда не вернусь обратно.

*28 августа 2003*

## СВ. ЛУКА РИСУЕТ МАДОННУ
**(Рогир ван дер Вейден)**

Не потому что я знаю как. Я не знаю.
Не потому что я верю, что я смогу. Я не верю.
Но потому что ничего еще нет, ни Ее, ни младенца,
ни даже вот этой комнаты с балдахином, с колоннами
и выходом на балкон, ни балкона, ни тех, кто
стоит там, ни реки, ни холмов, ни башен, ни меня
самого. Все это хочет быть, я хочу быть. Она
смотрит в сторону, с лунной улыбкой.

Не потому что я знаю. Не знаю. Не потому что
верю. Не верю. Но потому что все начинается
сызнова, все появляется, эти холмы, и колонны. Я сам
появляюсь. Все это движется, звезды
ходят где-то над нами, подземные
воды текут в темноте. Все это хочет быть.
И потому мы начинаем сызнова, каждый
раз. Она смотрит в сторону, улыбаясь.

Все движется, только Она неподвижна.

Не потому что я. Все равно кто. Я вижу
это ветвленье реки, эти складки одежд, их паденье
и тяжесть, квадраты пола с ромбами в них,
его тихую руку с карандашом над бумагой,



уже усталость у него под глазами.
Эти строки уводят меня все дальше. Она молчит
всегда и по-прежнему. Поезда идут, самолеты
и ангелы пролетают по небу. Вот потому-то.

*7 сентября 2003*

* * *

Этот берег смотрит на север. Северный
полюс — вытяни руку — там.
Где-то там, за волнами, глыбами
облаков. Между нами ничего уже нет.

Все, что есть, у меня за спиною, и *urbs*,
и *orbis*, все страны, все страсти,
автострады, аэродромы,
все надежды, все прошлое.

А я ведь тоже с севера. Кто-то
из моих предков плавал, якобы, с Берингом,
сквозь свист снастей, сияние льдов.
Как они верили, что когда-нибудь

тот край тоже будет *civilisé*.
Как жаль, что они ошибались.
Вода отступает. Песок
отсвечивает несбывшимся небом.



## БУДДА (I)

Я видел Будду, ехавшего в метро,
золотого Будду, улыбавшегося всем прочим,
ехавшим. Он улыбнулся и мне. Он был
похож, не похож на кого-то, кого я
знал лет двадцать назад, или двадцать

пять лет назад, или нет, на кого-то
другого. Все проходит, неправда,
что не все, все проходит, и все, что
есть, начинает не быть, и почти уже не
есть, и ты сам, и, конечно, ты сам не

очень есть, ты теряешь себя, все, что было
с тобой и тобой, исчезает, уже, вот,
исчезло, эти дни, эти ночи, то утро,
когда ты шел вдоль моря, был счастлив,
те следы на песке и те сосны. Я видел

Будду, ехавшего в метро. Он смотрел
на меня и на всех остальных, улыбаясь,
жалея. Он и был этой жалостью. Был
по-прежнему похож на кого-то, кого я
когда-то знал, или нет, кто исчез или умер,

и мы все были в этом вагоне, и ни-
кого из нас не было в нем, мы сидели

лицом друг к другу, пустота к пустоте,
уезжая все дальше, под землей, в никуда,
в навсегда. Все проходит, струится

и утекает сквозь пальцы, и ночи,
и дни, и конечно, надежды, и даже
отчаянье. И то, что мы помним, исчезнет
вместе с нами, те, кто умер, умрет
вместе с нами, еще раз. Я все-таки видел

Будду, ехавшего в метро. Он был и
не был, как я. Но был все-таки блеском,
и золотом, и золотой статуэткой в руках
у джинсовой девушки, и внезапным
вздохом, и вообще никем, пассажиром,

и жалостью, и облаками над морем,
и тем индийским принцем, однажды утром
вышедшим из дворца, и тем, кого я
уже никогда не увижу, и всем, и даже
ничем. Я видел Будду, ехавшего в метро.



* * *

Уходя, он смотрит на уже чужие предметы,
дверь в стеклянных квадратах,
портьеру на медных кольцах,
узкое зеркало. Он герой своего романа
(фильма?), с сумкой через плечо едущий на вокзал.

Будущее звучит в нем, затмевая другие звуки,
и случайные впечатленья образуют узор,
осмысленный и чудесный.
Все сходится, вот сейчас все сойдется,
и дымчатая дорога в окне, и чай в подстаканнике,

и чей-то давний взгляд, и вот этот дядька,
сидящий напротив.
Еще слова старость нет в его лексиконе. А между
тем уже тени ложатся за ним иначе. Уже непридуманное
будущее начинается в нем — как город,
исподтишка начинающийся наутро.

*22 декабря 2003*

## ПОРТАЛ ЭЙХШТЕТТСКОГО СОБОРА

*Sehr viele Weite ist gemeint damit.*
R.M. Rilke

Посмотрим на эти лица, встающие друг над другом —
мы же и видим сперва лишь лица, затем
видим бороды, затем уже все остальное,

жезлы, тиары, раскрытые книги — посмотрим
на эти удивленные лица, принимающие свое удивление,
как должное, уверенные, что все это правильно,

и то, где они оказались, и то, что они удивляются.
(Мы удивляемся тоже, глядя на них, мы хотели бы
*так* уметь удивляться.) Они восстают и восходят,

сходясь в вышине, над высокой, но, по сравненью
с той вышиной, где они сходятся, низкою дверью,
ведущей в собор. Они сразу все уже здесь. И у них

много времени. Время разрушает их, разумеется.
Машины на площади обдают их, хрипя, выхлопными
газами. Они уже забраны сеткой, еле видимой, все-таки

сеткой. Но времени у них по-прежнему много,
так же много, как было у меня пятилетнего, так же
много, как у вот этой, над урной с только что выброшенной



оберткою от мороженого кружащейся, бесконечно, осы.
Они всегда удивляются, улыбаются, всегда, удивляясь,
всегда уверенные, что все это правильно, эта площадь,

и эти машины, и этот очерк холмов за собором,
и тот, кто стоит и смотрит на них, задрав голову,
тоже. И ничего не надо бояться.

(Я прохожу мимо них почти каждый день,
по дороге в университет и обратно.
Я все-таки иногда забываю посмотреть на них, проходя.)

*15 августа 2003*

## ПАМЯТИ Е.И.М.

I

И конечно я помню тот вечер, когда я понял,
что она умрет. У нее был рак. Я услышал,
из-за стены, как, вызывая ей скорую

и думая, наверное, что я уже сплю,
моя мать сказала, очень отчетливо: рак. Я не спал.
И потом я видел ее в последний

раз, еще живую, уже очень страшную,
приподнявшуюся в постели. Ей было
семьдесят пять, мне двенадцать.

Она спросила меня светским тоном
о школьных моих успехах. Впервые в жизни
ей не было до меня вообще никакого дела.



II

Но я не помню, удивительным образом,
того, о чем мне рассказывали впоследствии:
как я попросил оставить меня одного

в той комнате, где она лежала в гробу,
как сидел, один, в этой комнате, полчаса, если не дольше.
Я помню только мартовский, мокрый

день, талый снег, первые лужи.
Отец увез меня за город. Сквозь черные ветви деревьев,
чертившие на ветру свой узор,

просвечивала весенняя, бледная, неуверенная в себе синева.
На даче, где я не был с зимних каникул,
все вещи смотрели куда-то в другую сторону.

III

У нее был, судя по всему, довольно ужасный характер.
Это видно даже на фотографиях, тех немногих,
что у меня сохранились, очень блеклых,
очень любительских.

Есть совсем ранние, двадцатых годов, где она молодая,
очень красивая, с прелестным тонким лицом,
капризною складкой губ, смеющимися глазами.

В тридцатые годы рот делается трагическим,
глаза несчастными, красота остается.
Поздних карточек нет, она не давала снимать себя

не только в старости, но задолго до старости.
Я очень многое знаю, чего-то самого важного
не знаю, конечно, об ее жизни.



IV

Она курила папиросы «Север» и питалась
швейцарским сыром
(пастилой, крепким чаем). Мне нравилось
держать ее за руку
с неразгибавшимся мизинцем (в который,
как она утверждала,

ее укусил скорпион, в Ташкенте, в эвакуации).
Она читала мне взрослые книги, Толстого,
но и какие-то советские повести из тогдашних журналов.

Был проход, на даче, между двумя
заборами, очень узкий, заросший крапивой.
Мы каждый день ходили к нему во время

нечастых ее приездов (с моим отцом она, в общем,
не ладила).
Там кто-то жил за этим проходом, кто-то, кто-то,
втайне от всех...
Там начиналось чудесное, которое оба мы видели.

V

Но неужели эта жизнь, с единственными ее очертаниями,
проступающими как ветви на синеве
неба, когда-то, с тем самым важным в ней, чего я не знаю,

с чудесным в ней, с крапивой, облаками, заборами:
неужели эта жизнь всего лишь
какая-то? Какая-то жизнь среди прочих каких-то?

Ее единственная среди прочих единственных?
И неужели моя, вот эта,
среди прочих каких-то какая-то?

Я выхожу на улицу, полную машин и прохожих.
От прошлого ничего не осталось.
В высоких окнах отражается то же небо.



## 24 ДЕКАБРЯ 2003

Уже все опустело, долины,
деревни. Снег синеет на крышах,
на холмах среди сосен, под снежным
и легким небом. Никто
не едет здесь, я один.

Все подарки куплены, лавки
закрыты. Бензоколонки
закрываются тоже. По радио
говорят о вере, коммерции,
бедности и любви.

Последние птицы
летят домой, звери
попрятались, садовые гномы
убежали в лес. В темнеющем воздухе
колокола призывают ночь.

Она уже наступает сквозь замерший
мир, безразличный к ней, ждущий
ее, не та же, но, конечно, такая же
ночь, как две тысячи
три года назад.

* * *

Ты лежал в больнице во время первого путча.
Я помню, я долго ехал к тебе, меняя автобусы,
и долго шел потом вдоль белой стены из бетонных
палок, с невнятным садом в прорезях между ними.

Я сказал тебе, что, судя по всему, Софья Власьевна
умерла. Ты ответил: вот как? отрывая взгляд от чего-то,
чего я не видел. Я подумал, что ты еще далеко,
где-то там. Здесь запертый, в этой палате,

с ее чужим кашлем и неизбежными тумбочками,
в коридоре, по которому походили мы взад и вперед,
сквозь запах йода, хлора, уборной, ты, подумал я, где-то
там, в каких-то далях боли (так я подумал), где тоже

толпы, шум, движение времени, в пространствах
страданья, с его, тоже, улицами, пустырями, заборами,
круженьем, возращеньем к началу. На остановке
была девушка, посмотревшая на меня, затем быстро

вскочившая в какой-то другой, с невозможным
номером, четыреста какой-то автобус, и в городе —
то радостное, что держалось еще несколько дней,
вдруг исчезло. Теперь тебя нет. Я вижу то, что ты видел.

*8 ноября 2003*



* * *

Как хорошо, наверное, верить, что души,
ушедшие, ушли недалеко, что они
где-то здесь, и видят нас, и видят то, что мы видим,
вот это озеро с перевернутыми холмами,
кремнистые склоны в неподвижной воде.

Мы так привыкли показывать им то, что видим.
Мы говорим, обращаясь к ним: вот,
вот, посмотрите... И вдруг вспоминаем, что они
уже не посмотрят,
и сделав свою пару снимков, идем к машине,
оставленной у обочины,
и еще раз оглядываемся, конечно. И вечером,

у моря, в сумерках, в городе,
где дома теряются за бескрайней
стоянкой с полустершимися белыми линиями,
и остатки неба отражаются в синих лужах,
удивляясь, смотрим на все это, обращенное к нам, обращаясь

по-прежнему к ним.
Потому что все это значимо, все это значит —
что-то, и только мы не знаем что именно.
И такое счастье, наверное, верить, что не мы им — они нам
показывают, вот, эти отсветы

в окнах, эту надпись B&B на углу, этих чаек
на парапете набережной, летящий флаг у входа
в гостиницу.
Здесь, вдали от всего, в чужой стране
с левосторонним движеньем
и яростными преданиями, где они никогда
не бывали, какое
счастье путешествовать вместе с ними.

*15 декабря 2003*



**«БЕРЛИНСКОЕ»**

И при мысли о том, что вот эта
женщина, напротив — вот эта?
с ее страшной шеей и старческими руками —
тоже спит с кем-нибудь, чувствуешь

тошноту. Поезд между тем выезжает
на свет. Безумный Берлин
встает вокруг со своими
стеклянными стройками. Ей

лет пятьдесят, она точно
спит с кем-нибудь. Она смотрит
тебе прямо в лицо, проплывая
сквозь облачный купол, новый Рейхстаг.

*9 января 2004*

* * *

Исторические события я мог наблюдать из окна.
Я видел танки и демонстрации, крушенье империи.
К вечеру, когда все затихало, оранжевым блеском
отсвечивал мокрый асфальт

и появлялись внезапные звезды. Я оставил все это без
сожаленья, чтобы здесь, среди шпилей и башен
(dans la forêt de symboles) смотреть в прозрачное небо
времени, убежав от судьбы.

*24 сентября 2003*



## НИКУДА, НИОТКУДА

Слишком холодно, чтобы сказать *весна
наступила*. Просто время сирени. Смятенье
сирени под всклокоченным небом. Лохматые,
как дворовые псы, облака, их беззвучная
драка над нами. Свора, свара: идешь,
повторяешь. Про себя, просто так. Все вообще
просто так, ни о чем. Просто время
сирени. Просто время уходит, не глядя,
под всклокоченным небом, никуда, ниоткуда.

## ДВЕ ВАРИАЦИИ
## НА ТЕМЫ ФИЛИПА ЛАРКИНА

### 1. ЗДЕСЬ, В ЕВРОПЕ

*Here is unfenced existence:*
*Facing the sun, untalkative, out of reach.*
Philip Larkin: Here

Сверни направо и проехав сквозь очень промышленный
город с каменистой рекой и красноверхими башнями,
мимо многих бензоколонок, откровенно стеклянной
гостиницы,
автобусной остановки с нахохленными турчанками
в платках, детьми с непомерными ранцами, справа
оставив новый торговый центр, вертящиеся названия
магазинов над плоскими крышами, поверни,
еще раз, направо. Сразу
все другое; деревня; еще светофоры,
еще, конечно, рекламные

щиты; но уже сараи, уже вдруг трактор с прицепом
и бревнами
в нем; наконец, поля. Все едут прямо. В последний
раз повернув направо, ты въезжаешь во что-то огромное
и пустое. Облака над синей равниной, над дальним лесом
стоят неподвижно. Пыль над полем не движется тоже.
Дороги,



и деревья вдоль них, и тени деревьев, вычерчены
в мягком свете ясными линиями. Та главная, по которой
ты едешь, через сколько-то километров начинает
спускаться в дымчатую

долину. Здесь тоже город, но маленький и как будто
забытый здесь. Остановись в нем. Выйди
из машины на главной, торжественной, полукруглой
и совершенно пустынной площади (фасады, кариатиды,
колонна с недосягаемым ангелом). Здесь, кажется,
с Тридцатилетней
войны ничего не случалось. Здесь дни повторяют
друг друга
как заклинанье. Дома и крыши отражаются в тихой речке,
гнутый мостик отражается в ней же. Пестрые селезни,
скучные утки

проплывают сквозь отраженья. Одинокий турист
перед очень
средневековым собором стоит не понимая, куда он попал.
Никто не
понимает этого. Отовсюду видны холмы — или то, что
выглядит отсюда холмами: все та же равнина,
впускающая, как только
ты поднимешься по серпантину, тебя в свою тающую
безмерность, размах неба, огромного и пустого.
Скажи себе: *здесь, в Европе...* Нажимая на газ: *куда еще ехать?* Край света везде. Край слова.

## 2. 1914 – 2004

*Never such innocence again.*
Philip Larkin: MCMXIV

Сверяя даты, думаешь *через десять*
*лет уже сто*, и к черной большой четверке
приставляешь снова строгую единицу;
думаешь, как могло быть; видишь поля и лица,
не тронутые траншеями, продолженье
не продолженных жизней; думаешь *если... если*

*случилось бы то-то и то-то* — как будто тени
спасительных шансов проходят, смущаясь, перед
тобой, разводя руками — *все могло повернуться*
*иначе*... Видишь шляпы, взлетающие в восторге,
темные толпы, верящие, что верят
во что-то, чего уже не было, что они же

и хоронили на залитых солнцем улицах,
крича «С победой обратно!», забрасывая цветами
счастливых солдат, из которых никто не выжил;
и серые шеренги парадов, последние эполеты,
аксельбанты, плюмажи; убегающих из истории
навсегда, под стрекот крапчатой киноленты,



монархов; семенящую свиту; сестер милосердья в белых
с крестиками косынках, с лицами из другого
века. Думаешь *что тебе все это?* В-общем сам не
знаешь. И к штыку единицы примеряешь семерку, и
выходишь на улицу, где осталось то, что сумело
остаться от прошлого. Так немного.

## ФОНТАН

Большеголовые дети, застывшие у воды.
На площади, всегда пустынной, огромной
и полукруглой (булыжник, кариатиды).

Они играют (или делают вид, что играют)
с лягушкой, ракушкой, рыбкой.
Их шестеро. Они каменные.

Только один из них, цапнутый раком,
смотрит на небо, к небу же
воздевши пухлую руку.

Все прочие смотрят тебе прямо в лицо.
Ты обходишь их по часовой или против
часовой стрелки. Обходишь еще раз.

Они смотрят на тебя исподлобья,
из-под круто-выпуклых лбов, пятен мха.
Они смотрят не отрываясь. Не видят.

Вода за ними, падая, плещет. Блики
пробегают по тебе и по ним.
Они сидят неподвижно.



Я ловил бычков в пруду, ловил головастиков,
ловил лягушек (зачем?). Запах дыма
мешался с запахом сумерек,

травы и тины. Ничего не меняется. Седьмой
сидит внутри меня, так же
неподвижно, как эти шестеро.

* * *

Выйти в мир, удивиться деревьям и бензо-
колонкам, неподвижному времени в статуях,
в кариатидах. Мы живем всегда где-то, в каком-то

углу, за углом. В городе, который французы
хотели занять (и конечно, разграбить) во время
войны за испанское наследство, не сделали этого.

Не нашли, прошли мимо. Был туман, vous savez.
Здесь тоже мир, хоть мы и прячемся здесь.
Как ветер взрывает небо, как мы стоим, удивляясь.

*9 февраля 2004*



* * *

Среди моих персонажей есть тот, кто стремится сделать —
почти неважно что именно, но сделать, суметь и добиться.
Он смотрит в будущее, он решает свои задачи.
«Пускай земные. И пускай даже все sub specie
aeternitatis бессмысленно, но я это сделал, и то
еще сделаю. Я не буду стоять на обочине,

провожая взглядом идущих, под безжалостным небом».
И есть,
среди моих персонажей, тот, кто смотрит на воды и ветки,
повторенные в них, пятна солнца и снега в аллеях
парка (который всегда — в нем). Не стремясь к успеху,
не страшась неудачи,
не участвуя в гонке и не зная обиды, он может
быть печален, но втайне он счастлив. Огромный

день неподвижен за окнами. Они сидят среди прочих
моих персонажей. (Тот, кто плачет о прошлом, сидит
между ними, и тот, кто
просит любви, рядом с первым, тот, кто любит сам,
недалеко от второго).
Оставляя их всех, я выхожу наружу. Пространство
слов и строк лежит предо мною с безмолвными
городами на горизонте, садами и башнями, чистым
светом, сверкающим в стеклах.

*19 февраля 2004*

* * *

*The art of losing isn't hard to master.*
Elizabeth Bishop

Уже прошлое похоже на материк,
обведенный фломастером, со штрихами
дождя на западе, пустынями на востоке.
Но еще мы собираем сумку и едем в город,
где до сих пор не бывали. Солнце
бежит по каналу вдоль темных лодок,

дворцов, атлантов, глядящих с грозной
улыбкой в ту сторону, которая нам не зрима.
Часы на башнях отсчитывают чужое
время, время трамвайных, кофейных, узких
улиц, бутылок в баре, официанта
в проеме двери, со скрещенными руками

и в белом переднике, цезарей, конных статуй.
Вряд ли все уже было, но было все же
уже так много, что бывшее уже больше
нас. Мы сидим снаружи. Приморский ветер
колеблет салфетки, страницы. Что там,
за обведенными берегами? Громады



какого света? Чьи голоса там, чьи тени медлят
в тех дальних рощах, в тех чащах, кущах?
Они говорят друг с другом, увы, не с нами.
Голуби и мопеды на площади поднимают крик,
урчат, кудахчут. И девочка через площадь
бежит вприпрыжку навстречу всей своей жизни.

*6 марта 2004*

* * *

Окно, из которого Китс
смотрел, умирая, на Piazza
di Spagna. Никто не
знает, *о чем* это все, эти дети

кричащие у фонтана,
сидящие на ступеньках
знаменитой лестницы, этот
седой фотограф,

пристающий к туристам,
звук воды, стук шагов.
Все это есть, вот, всегда.
Как тот соловей, не рожденный

для смерти (not born
for death), так и это, во всяком
окне, всегда то же, и те же
дети, крики, мороженое,

и тот же фотограф, фонтан,
продавцы сувениров.
Только смотрящий, кто бы
ни был он, всегда смертен.

*26 марта 2004*



## НАЧАЛО ПОВЕСТИ

Какой-то был, конечно, день, когда он
увидел город, сверху, весь, внизу.
Какой-то был. Какой-нибудь. Допустим,
осенний, ясный, солнечный, один из
тех дней, раскрытых настежь, тех насквозь
прозрачных, но и тихой, тонкой дымкой
окутанных, благословенных дней,
какие только осенью бывают.
И город, весь лежавший перед ним,
был виден ясно. Крыши, купола,
кусок стены зубчатой, башни, кроны
деревьев среди крыш и башен, вдруг —
прогалины, пустоты, быстрый блеск
реки ли, рельсов... Маленький, в долине
забытый кем-то город. Черепица,
коньки и скаты красных крыш. И дальше,
над крышами — желтеющее ранней,
густой и жаркой желтизною поле,
холмы, в холмах ложбина, выступ леса
и тень его. И над холмами синь
других холмов, уже совсем воздушных.
И небо, небо над всем этим, в той же
мерцающей и тонкой дымке. Долго
стоял он так, над городом. И город,
лежавший перед ним, был тих, неведом,

и как бы ждал чего-то. И очнувшись,
он посмотрел еще раз на холмы,
и на небо, мерцающее в дымке,
и сделал первый шаг, второй и третий,
спускаясь в мир, чтобы исчезнуть в нем...



* * *

Здесь, на холмах, где камни
и сосны, и больше нет
ничего, я сам не
есмь. Пролет, просвет

пустоты, свободы,
проблеск небытия.
Камни и сосны. Своды
неба прозрачны. Я

счастлив. Я вижу эти
ветви или они,
в этом летящем свете,

видят меня, не зная,
что видят меня. В тени
облака — исчезая.

* * *

Сумрак случайных слов.
Липы. Летящий кров
крон. И куда-то ты
сквозь сумрак случайных слов
уходишь.



## ФОТОГРАФИЯ В.Х. ОДЕНА

На фотографии сонный снег.
Оторопь градусника. Не грех
было бы выпить, к примеру, глинтвейну. Развеять, к примеру, сплин.

На фотографии сонный снег.
Падая вниз и взлетая вверх.
По краю слева двух женских спин
очертания. Ты один.

Ясное дело — холодный день.
Гостиница. Например, «Олень».
Да, не грех бы. Балкон, навес,
исчезая, уже исчез.

В круженье крапин исчез, возник —
воспоминанием — грузовик.
(На нем я ехал по той зиме,
что больше, в общем, не снится мне.

Из снега по снегу в снег скользя,
до той зимы добежать нельзя).
В круженье крапин недвижна тишь.
Из снега в снег не скользишь — стоишь.

Глаза, и галстук, и складки брюк.
Недвижимость. Неподвижный звук.
Собрание драгоценных глин,
беспрецедентных твоих морщин.

Скользя, забуду и вся, и всех.
На фотографии тоже снег.
Что ж: каково тебе, Вистан Хью,
в известняковом твоем раю?



* * *

Сквозь безразличие мира стихи
проходят, как мы сквозь
город, в котором
у нас нет ни знакомых, ни даже
воспоминаний.

Деревья не шумят нам навстречу,
и пригоршни солнца не нам
бросают окна. Никто
не видит в нас нас
самих. Мы не знаем,

зачем мы здесь, но мы здесь.
Мы сидим в кафе на площади или
в саду, на леопардовой шкуре
скамейки. Стихи
сквозь безразличие мира

проходят крадучись. Их
следы остаются в нем, как вот эти
большие чьи-то
следы на песке среди
оберток, окурков.

## ТРИ ПЛОЩАДИ

Прошедшее — мимо,
как поезд ночной.
На Piazza Navona,
смешавшись с толпой
туристов, я Рима
вдыхаю покой,
как воздух, огромный,
и легкий, как свет.
Руины, колонны,
раскопок развал,
времен основанья,
и лестницы взлет
на Piazza di Spagna
(где Китс умирал).
Неважно, что будет,
грядущего нет.
О страсти, о чуде
и речь не идет.
Не трудно расстаться
с великой судьбой,
спускаясь на Piazza
del Popolo, где
народ неустанно
следит за игрой



детей у фонтана
и солнца в воде.
Не помня о счастье,
забыв о беде.

*11 мая 2004*

## БУДДА (II)

Когда он вышел из дворца, было раннее,
очень серое, очень сырое утро.
Люди, звери и птицы ранены
смертью. Он шел, как будто

уходя от себя все дальше,
каждым шагом зачеркивая прошедшее,
по улице, медленно рассветавшей.
Ничего еще не было, нет еще.

И что будет, неважно. Но боль, но жалость.
Жалость, сжигавший его костер.
Над темными ветками колебалась
и бледнела звезда. Он шел

вдоль каких-то стен, мимо фабрики,
мимо больницы с большими окнами,
вдоль железной дороги. Он вышел на берег
реки, где буксиры кричали грозными

голосами, теряясь в необозримом
пространстве, солнечном и туманном,
и через мост уносились, слепя, машины.
Мир, искаженный своим страданьем,



лежал перед ним, но все-таки —
мир: с дорогами, реками, берегами,
странами, и со сколькими
еще рассветами, с океаном,

ожиданьями — и с огромной
тишиной за всем этим, вздохом, вестью
воздуха. Было, в общем, просто какое-то утро. Волны
ударялись о сваи пристани. Пахло нефтью.

* * *

Поговорим о велосипедах. Тот первый,
с оранжевыми толстыми шинами,
на котором ты вдруг поехал, не веря,

что едешь, сумев оглянуться, увидев
*их всех*, уже остающихся, всплеск
их рук, уезжая все дальше сквозь ясный

вечер, по небу, сверкающему на мокром
асфальте, находя равновесие — или
вдруг найденный им. То же самое, может быть,

которое ты находишь, которое
находит тебя, когда строки (вот эти) становятся,
держась и двигаясь одновременно.

*22 июня 2004*



* * *

И всегда желанье уехать на самый бескрайний край
земного света, в Ирландию, к черту, к морю,
увидеть каменной Коннемары убегающие болота,
рыжие склоны гор под тысячеглавым небом.

Это место с чужой судьбой, безразличное к той, с которой
ты сюда приезжаешь, к сидящей с тобою рядом
в машине, напрокат взятой в Голвэйе; впрочем тот, кто
в начале жизни так верил в судьбу, в движенье

смысла во времени, в том времени и остался.
От него самого осталось, может быть, только желанье
уехать
на самый бескрайний край, где света много, увидеть
эти стены из плоских камней, это море, сияющее за ними.

*7 июля 2004*

* * *

Были не морды, но лица у лошадей,
с человеческим взглядом и выражением,
осмысленным не менее, чем у всадников, у горожан,

подносящих королю, победившему их, ключи
от города, видимого, конечно, на заднем
плане с его башнями, шпилями,

под густо-синим, в глубине светлеющим, небом;
и особенно у одной из них, единственной, повернутой не
в профиль, но лицом к зрителю — грустное,

насмешливое, смешное, и какое-то благосклонное
(и к королю с его мантией,
и к горожанам в их белых рубахах,

и к тебе, смотрящему на них) выражение
человеческого лица. Мы вышли затем на площадь,
где, в разноцветных пончо, из Колумбии или Перу,
музыканты

играли свои хриплые, дальние, никому на этой площади
ненужные, в общем, мелодии; и выпили кофе, глядя
на башни и шпили города, темно-синее небо.



Я часто думаю: родись я на пятьдесят
лет раньше, я был бы, к моим сорока трем,
давно уже мертв,
или, в лучшем случае, *доходил* бы где-нибудь на Колыме.

*3 августа 2003*

* * *

Всегда очень прямо — и даже
склоненные ветром — стоят
деревья. Так прямо, как мы
хотели бы, как мы очень редко

стоим перед ними, перед
тем, что за ними, вокруг них,
вокруг нас. Знаешь, здесь без тебя
ничего, в общем, нового. Осень

уже кончается, уже только белые
шарики на черных ветках, но снега
еще нет. Все раскрыто
настежь. И так же

прямо, склоненные ветром,
стоят деревья. Так прямо, как мне
не выстоять перед этой,
огромной, без тебя, пустотой.

*9 декабря 2003*



* * *

Эти страшные зимы, эти троллейбусы в сумерках,
эти черные полосы льда под снегом, красные пятна
плакатов, бородатые трое, текущие по стене.

Все это дальше теперь от меня, чем тысяча
девятьсот тринадцатый год. Потому что мы движемся
своими путями во времени, прорывая ходы в нем,

выходя на поверхность, вдруг возвращаясь
в эти страшные зимы с их серым снегом, толпой у киосков,
сигаретой, закуренной на ходу, горьким привкусом,
фильтром,

чернеющим посредине — и легчайшим, розовым чем-то
над крышами,
проводами и кронами; свободой, вздохом,
отсутствием страха;
теряясь в них, уходя все дальше по исчезнувшим улицам.

*27 октября 2003*

## АРКА СЕПТИМИЯ СЕВЕРА

Выходя из камня и снова
уходя в него — кто они?
Они идут, не двигаясь. Американцы,
японцы окружают их, каждый
день, сменяющейся толпой,
голосами мира, в котором

их нет, не может быть, щёлком
фотокамер. Кто они? Выходя
из камня, они идут, не двигаясь, друг
за другом, огибая угол, не глядя
на наши джинсы. Немецкая
экскурсоводша с рюкзаком и в очках

рассказывает шумно скучающим
школьникам о парфянах. Вот этот,
бородатый и толстогубый, с младенцем
в больших руках и вон тот,
кудрявый, грустный — кто они? Палатин
поднимает вдали свои пинии, синий

день стоит вокруг, удивляясь
себе и Риму. Уже никто, они просто
есть, вот сейчас. Они уходят обратно



в камень, как слова в молчанье, как эти
туристы каждый в свою
единственную, непонятную жизнь.

*25 августа 2004*

## ВСТРЕЧА

Целый день мы ходили по городу, просто так,
продлевая волненье. «Я люблю это зверское
в человеке. Знаешь, быстро, в подъезде,
с кем-нибудь». Или в парке, со мной. За деревьями
была автострада, укрывавшая нас своим грохотом,

было желтое пламя над кронами. Посреди
ночи я думал, что жизнь распадается на чужие
комнаты, годы, на страсть и на близость
старости, на губы, груди и... что же? снова
проснувшись... подушки, простыни, волосы,

на контуры комнат и чужие мечты, в которых
ты теряешься, по которым блуждаешь, нащупывая
угол шкафа, выключатель у двери
в ванную, где над расческами, щетками,
тенями для глаз, чернилами для ресниц,

под звук воды, упадающей в раковину, так ясно
видишь все это, время, уводящее тебя прочь
от тебя же, усталость, недостижимость
счастья. Из тусклого зеркала — мой отец
посмотрел в ту ночь на меня.

*1 сентября 2004*



* * *

Новый год в незнакомом городе, хлоп ракет.
И затем мы долго шли сквозь прозрачную
ночь, по улицам, повторявшим дома и крыши,

повторявшим цветные лампочки, венки из еловых веток.
Тебе столько-то лет, все это уже было, остатки снега
тают на тротуарах, машины молчат, уткнувшись

друг другу в затылок. Ты брошен на эти улицы,
ты выброшен, выдан, отдан
этим улицам, повторяющим крыши, окна,

повторяющим лампочки. Новый год в незнакомом
городе, где-то, запах пороха, угольный блеск
луж, картонные гильзы на опаленном снегу...

*7 января 2005*

## СОРОК ПЯТЬ

1

Зима затянулась, давно надоевший снег
мерцает под мерзлым небом, мерцающим, втайне, тоже.
Март похож на январь в Европе, на март у гипербореев —
с безмолвной стражей сугробов и скрежетом коньков
на катке,
где вечность назад я гнал по льду свою шайбу,
с великолепным грохотом ударявшуюся в дощатую
изгородь,
и, прозрачными уже вечерами, далекие отсветы города,
как отсветы будущего, о котором никто не думал,
ложились на летящие лица, на окружные крыши.



2

Когда я родился, мир был совсем другим,
уже, но едва отошедшим от оторопи. Никита
Сергеич дубасил своим башмаком, торопясь
забить еще один гвоздь в гроб отца и учителя.
По ту, верней эту, сторону занавеса уже начинались хиппи,
кончались битники, Кеннеди ехал в Даллас.
Носили нейлоновое, верили в будущее, путались с шириною
брюк. Вспомним также остроту, высоту
дамских бюстов, взлетающие прически.

3

Все прочее было круглым, как было и в предыдущую,
добродетельную эпоху: на фоне ее колючей
проволоки. Круглые абажуры, крутые крыши «Побед».
Не забудем и «Волгу» с оленем на бескрайнем капоте,
сплошным передним сиденьем, мягче которого
потом уже не бывало,
ручкою передач на руле. И в пустом парадном пространстве
дядей Джо построенного проспекта, вдруг —
лошадь с телегой, мужик в телогрейке,
теребящий вожжи, уезжающий в никуда.



4

Еще были живы те, кто помнил иное время,
до всех кровавых свершений, еще писались последние
воспоминанья о Павловске, в Париже была Россия,
и чистый прощальный голос проходил сквозь рок-н-
рол, треньк гитар, сообщенья о спутниках,
кружившихся все быстрее. Зима затянулась. Снег
любой ландшафт превращает, как известно, в страницу,
переведенную с русского. Примеряя
к себе и друг другу цифры *четыре*, *пять*,

5

я смотрю в окно, как на те сугробы, на эти
черные ветлы, тихий изгиб реки,
двуглавый собор над черепицей и путаницей
красных крыш, в белых пятнах. Когда я родился, мир
был другим, таким же, был сам по себе, был чем-то,
чего мы, в общем, не понимаем. Я застал лишь его
остатки. Понемногу взрослея под сенью
безнадежных бровей, я все дальше
уходил куда-то в сторону, как строки, слова, следы.

*8 марта 2005*



## НА АВЕНТИНСКОМ ХОЛМЕ

*... how to explain*
*Our happiness then, the particular way our voices*
*Erased all signes of sorrow that had been,*
*Its violence, its terrible omens of the end?*
Mark Strand

На Авентинском холме, где в полдень
у входа в церковь смущенным неграм
раздают даровые спагетти (вкусно
пахнущие, в пластиковых тарелках),
и служка в рясе смеется, считая булки
(по одной на каждого) — счастье смотрит

из облаков над Тибром. А все же тот, кто
нашептывает утешенья, не прав. Утраты
так беспощадны, так тихо время
день за днем отламывает от жизни,
так не сбылись надежды, так все, что было,
было не так... А вот стоишь здесь,

на Авентинском холме, где возле
церкви — мандариновый сад, в котором
на узколиственных ветках каждый
мандарин — неожиданность, и бродячие,
вдруг неподвижные кошки вместе
с тобою смотрят на город, снежный

очерк над городом, — вот стоишь здесь,
ни о чем не спрашивая, потому ли
что спрашивать некого, не с кого, или, может
быть, незачем. Сходя с дарами, почти незримый,
ангел ступает по крышам, кронам
пиний, едва касаясь их, в чистом свете.



## ПОЕЗД ВО ФРАНКФУРТ

Все печально, говорил принц Гэндзи, и даже
эти прозрачные листья, эта белая, розовая
россыпь веток. Потому что весна говорит мне
об осени, о течении времени, потому что
цветы облетят и листья увянут. Монах же думал
о том, что лежит за словами, которые
он мог бы сказать в утешенье, которых
он потому и не сказал в утешенье, о том, что
за всеми словами и мыслями, листьями, ветками,
лежит или, может быть, думал он, движется,
как и мы, приближаясь, скользя, проплывая
сквозь распахнутый светом ландшафт, где цепочки
деревьев разбегаются по косогорам, и легкое
облако взлетает над колокольней, холмы
исчезают в сверкающей поволоке. Машины
не поспевали за поездом, в окнах через
проход, куда вывозили уже на колесиках
чемоданы, выносили сумки, был город,
большие башни на солнечном горизонте.

*26 апреля 2005*

* * *

В зеркало видишь женщину за рулем
фольксвагена, с освещенным и грубым
подбородком, исчезающими в тени
глазами. Приближаешься к светофору,
нажимаешь на газ, на тормоз. Громады
облаков восстают друг на друга над белой
и плоской фабрикой, автомобильными
мастерскими, некошеною лужайкой, где тоже
белые (уже) одуванчики убегают, еще не
облетая, неизвестно куда, по блестящей,
как вода на солнце, траве. Мгновенье
твоей жизни, одно из единственных.
Ты входишь в него, как в чьем-то
рассказе мальчик, вошедший в картину,
не возвратившийся. Оно длится, растягиваясь,
границы его отступают. Оно больше
(ты знаешь) облаков и времени. Ты
в нем дома. Вдруг женщина улыбается
и машет рукой кому-то на улице, вот
этому, в джинсах, тот кивает ей, светофор
зеленеет, все едет, все движется,
заканчивается, закончилось. Радио
продолжает свой рассказ о погоде,



дорожных пробках, парламентских выборах.
Не заканчивается (говорил мне один мой
не возвратившийся из картины знакомый)
ничего, никогда.

*6 июня 2005*

## ЛЕБЕДЬ

Перевалив через велосипедную —
между озером и полем — дорожку,
огромный лебедь с беззвучной
яростью набрасывается на низкие
светлые колосья пшеницы, вытягивая,
выгибая, выкручивая дрожащую

шею, то сверху, то снизу, и справа,
и слева подбираясь к зернам. Колосья,
наклоняясь вперед, отгибаясь
назад, выпрямляясь, с беззвучной
тоже, но не яростью — легкостью,
ударяют его по клюву. Он один, он

ужасен. Это все враги его, все
это поле. Он рвет, и тянет, и дергает.
Что руно ему, что Медея? Сияющие,
той же масти, что и он, облака
стоят над ним неподвижно. Старик
с лохматой собакой старается,

волоча сандалии на синих ногах,
пройти поскорее. Собака не лает,
оглядывается, не лает. (В каком-то



месте мира — мгновение жизни.
Свет и время, стоящие вокруг нас.
Воскресенье, озеро, очень дальние

голоса, ниоткуда). Вдруг вспомнив
что-то, он шлепает к берегу,
заносит ногу, шатается, падает
в воду. Становится снова виденьем,
становится призраком, уплывает
сквозь чужие стихи, навсегда.

*17 июля 2005*

## ОСЕННЕЕ РАДИО

Сквозь шуршанье осени радио
говорило о землетрясеньях, о не-
счетных несчастьях. А кто-то,
казалось нам, выбрал
для нас эту осень — из скольких

возможных? — вот эту! —
с ее полыхающими
шатрами на нескончаемом небе. «Любовь
тоже есть приближенье
к искомому, эти изгибы

есть изгибы дорог, эти руки —
реки». Но радио
говорило по-прежнему (и в машине,
и на кухне за завтраком). Наконец,
мы нашли его, в глубине

осени, на
мусорном баке, у входа
в парк — забытое кем-нибудь? «Странность
жизни...» — с полувытянутой антенной. Уже не
шуршали, но всхлипывали



под ногами листья, и не было
никого вокруг. Было
только это черное радио под черными ветками, и
мы, уходившие вчетвером — со своими
двумя несчастьями — под руку.

## ПАМЯТНИК «ПЕХОТНОМУ ПОЛКУ ПРИНЦА КАРЛА (4-ОМУ ВЕЛИКОГЕРЦОГСКО-ГЕССЕНСКОМУ) № 118 И ЕГО ПОЛЕВЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ». ПОСТАВЛЕН В ВОРМСЕ В 1932 г.

Стоящие вместе, повернутые в одну,
они смотрят в разные стороны, но
в общую смерть. Их взгляд
отменяет то, что мы видим, свет

и тени в аллее, лиловые клумбы. То, что
мы видим, не видит их. Облака,
и машины, и люди проходят, как ни
в чем ни бывало, сквозь этот

каменный взгляд, на мгновенье
темнея, смолкая под ним, умирая,
в нем, под ним, на мгновенье, и не
замечая этого, воскресая опять,

продолжая свой путь по бульвару,
к вокзалу, неважно. Каштаны
перерастая их, окружают зеленым
сумраком их щербатые шлемы,



их серые, грозные, горестные,
беспощадные лица. Они стоят тяжело,
всей тяжестью камня стоят они
здесь, опираясь на винтовки, брусками

пальцев сжимая стволы их, но очень
прямо, по-прежнему насмерть, в надетых
навсегда шинелях, со штыками
у пояса. Пять вестников из другого, из не-

мира, пять проклятий этому, пять
отчаяний. Мы обходим их. Под
широколистыми ветвями в игольчатых
шариках — их громадные ранцы,

их спины, сомкнувшиеся в сплошную
стену, уже не стоят, но — уходят,
не двигаясь, в невысокое небо,
прочь от нас, от всего, что есть мы.

*10 августа 2005*

## ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ

Представь себе чью-то чужую жизнь, изумленный
грозою вечер, похожий на этот, в таких же
дымчатых клочьях, но из чужого окна, незнакомый
вкус во рту, другие комнаты в памяти и снаружи,
другие книги на полках, другую лампу, улицы, площади,
железнодорожные станции, другое начало
жизни, несбывшиеся, но другие надежды, какой-то
самый лучший в жизни день, но другой, двадцать лет
назад, деревья в лужах и облака на асфальте, прогулку
с кем-то по воздушным садам, вдоль реки,
других персонажей, выходящих на другую, иначе
освещенную сцену, их реплики, их быстрые взгляды,
нарастание действия, антракты с пирожным
в буфете, знакомые, незнакомые страхи, любимую,

но другую музыку, чью-то шутку, которую помнишь
с юности, еще смеешься над ней по ночам, но не ту,
полузабытое детство с другими обидами, тиной
других прудов, чужую тяжесть в желудке, изнанку
зубов под языком, заусеницы на пальцах и сами
пальцы, их складки, первые желтые пятна на обороте
ладоней, предсказанья чужого конца, который, пожалуй,
тебе проще представить себе, чем твой. Но представь
себе все это, на мгновенье, передвинь лекало, ломая
грифель, смести рисунок, сбей линии, примерь на себя



эту чужую жизнь, вот сейчас, в этот дымчатый
вечер, почувствуй, почти под пальцами, расхожденье
твоей с тобою, ее расплыванье за окнами, размыванье
в сумерках, схожденье на нет, среди букв, на бумаге.

*20 августа 2005*

## ДОЖДЬ, АВТОСТРАДА, ЧАЙКОВСКИЙ

*Л.Щ.*

Как в *Pathétique*, которую мы слушали вместе,
только ад, ты сказала мне, и более ничего,
ни чистилища, ни проблеска, ни прощенья,
так в этот день только дождь, и рваное небо
над взорванными деревьями, и на автостраде

вообще никакого, но водные вихри, безумные
брызги, но красные фары, вдруг страшно
близко, и белые в зеркале, ниоткуда, в сплошном,
летящем и грохочущем облаке, и конечно,
печаль раздвигает границы, разрывает — отчаянье,

и все плывет, наплывая, все путается, порывы
ливня, никогда, нигде, на бульваре, и влага
над орешником, и трава в том лесу, из которого
я так и не вышел, до которого я никогда не
дойду, не доеду, и не пробую больше, и души,

обгоняя друг друга, мигают, и дворники
скрежещут от ярости. Но, Лариса, прощенье
есть, ты знаешь, всегда, и место, где все, что
было, становится снова таким, каким было,
и те, кто уже не вернется, кого мы не встретим



ни на улице, ни на автостродной парковке,
прощены навсегда, как и мы, уже есть,
Лариса, уже вдруг проступает, как вон
те, на холмах и сквозь дождь, электрические
ветряные вышки, их спокойные крылья.

*28 августа 2005*

## СВЕТ ЗА ДЕРЕВЬЯМИ

*The bed, the books, the chair, the moving nuns…*
Wallace Stevens

Но каждый день был каким-то и каждая
ночь какой-то, бессонной, безлунной,
и сиделки совсем не сидят, но подходят, уходят,
и склоненные лица выступают из сумрака, склянки
блестят на столике, собирая остатки света,

переходящего в тот же сумрак, но каждый
день был, конечно, каким-то, счастливым, ненужным
или зимним, и никто никогда их не вспомнит,
не сочтет их, и стараться не стоит, но все-таки
они были, все они, с их туманом, их мокрыми ветками,

их листьями в лужах, их теплом в рукавице,
их теченьем, их стеканием к вечеру, ожиданьем
чего-нибудь, телефонного звонка, телефоном
у зеркала, и зеркалом в ванной, ни в том, ни
в другом, ни в каком ничего уже больше не видно,

и неважно что больше не видно, но видно
далеко и все дальше, в глубь улиц, где кто-то
еще идет и уходит, всегда уходит, все дальше
от этой комнаты, койки, этих склянок на столике,
этих звуков за стеной в коридоре, шагов, уходящих



по коридору все дальше, по улицам с их облаками
и крышами, с их мокрыми крышами, их круженьем
птиц над мокрыми крышами, с голубями и галками
в парке, расхожденьем дорожек, тропинок, и все это
было, и звуки гаснут, и боль остается, и были,

конечно, станции, станции, их названья, никто их
уже не вспомнит, безымянные станции, до
которых уже не добраться, а как хотелось бы, не
дойти по снегу, не доехать на поезде, поезда,
конечно, все-таки, были, товарные, темные, надписи

мелом на стенах, уже не прочесть их, сиделки
никогда не сидят, все уходят, все дальше,
и военные поезда, эшелоны, и красные, острые
стрелы, как больно, и слова уезжают на стенах,
слов не слышно, уже не расслышать, но каждое

было, было сказано кем-то и значило что-то,
и каждое утро было добрым, недобрым,
дождливым, и собака была с перевязанной
лапой, и сиамская кошка, когти, царапины, царский
подарок, и всегдашнее ожиданье чего-нибудь,

телефонного звонка, телефон был в прихожей
у зеркала, и зеркало было в ванной, страшнее
когда не ждешь ничего, когда нечего, все
так тихо, так неслышно подходят, как кошки,
эти сестры, сестры, эти братья и сестры, сестрицы,

не сердитесь, поезда все же были, военные,
были мирные эшелоны, товарные, никуда, ниоткуда,

все молчит, все смолкает, все безмолвно, как мел,
как надпись мелом, как мел на дне чайника,
чай был горький, был сладкий, был сахар,

было счастье, оно все-таки было, так много
было счастья, как сахара в чае, да что ты,
столько сахара, разве можно так много, не так,
все всегда было, в общем, не так, были склянки,
были склянки, стеклянки, стаканки, и слов не

расслышать, все смолкает как мел, все молчит,
как мыло, замело, заметало, неважно, но видно
далеко по-прежнему, далеко и все дальше,
и город, в который всю жизнь так хотелось
поехать, поднимает свои башни над склянками,

свое темно-синее небо над склянками, свои башни
на темно-синем небе, вот они, все-таки,
и ветки на небе, и конечно же свет за деревьями,
этот свет за деревьями, вечером, в сумерках,
по дороге куда-нибудь, он был, были станции,

были названья станций, были ржавые буквы
и треснувший асфальт на платформе, был ветер,
был шарф, я люблю тебя, я тоже, был царский,
пускай царапины, но царский подарок, как жалко,
что дарить уже некому, прощать уже некого, все

ушли, все уходят, все дальше, все яснее от этой
койки, комнаты, и звонка не дождешься, дождаться
звонка бы, телефонного, неважно какого, все тихо,
все тише, все становится крошечным на краю
зренья, в глубине этих улиц, но каждый, конечно,



день был все же каким-то, бесконечным был каждый,
и все это длится, длится, никогда не кончается,
и башни над склянками, и военные эшелоны, любить
так просто, и листья в лужах, и станции, и слова,
и свет, и свет, и конечно же свет за деревьями.

*23 ноября 2005*

СОДЕРЖАНИЕ

*Андрей Грицман.* Об этой книге ..... 5
Другое начало ..... 9
«Города, которые проехали мы в то лето...» ..... 11
«И даже не то удивительно, что я сам...» ..... 12
«Я даже не дожил еще до того...» ..... 13
«Свернуть с автострады...» ..... 14
Ut pictura poesis ..... 15
«Так много снега, как снега только...» ..... 16
Св. Лука рисует Мадонну ..... 18
«Этот берег смотрит на север...» ..... 20
Будда (I) ..... 21
«Уходя, он смотрит на уже чужие предметы...» ..... 23
Портал эйхштеттского собора ..... 24
Памяти Е.И.М.
1. «И конечно я помню тот вечер...» ..... 26
2. «Но я не помню...» ..... 27
3. «У нее был, судя по всему...» ..... 28
4. «Она курила папиросы “Север”...» ..... 29
5. «Но неужели эта жизнь...» ..... 30
24 декабря 2003 ..... 31
«Ты лежал в больнице во время первого путча...» ..... 32
«Как хорошо, наверное, верить, что души...» ..... 33
«Берлинское» ..... 35
«Исторические события я мог наблюдать из окна ..... 36
Никуда, ниоткуда ..... 37
Две вариации на темы Филипа Ларкина
1. Здесь, в Европе ..... 38
2. 1914–2004 ..... 40



Фонтан ..... 42
«Выйти в мир, удивиться деревьям...» ..... 44
«Среди моих персонажей...» ..... 45
«Уже прошлое похоже на материк...» ..... 46
«Окно, из которого Китс...» ..... 48
Начало повести ..... 49
«Здесь, на холмах, где камни...» ..... 51
«Сумрак случайных слов...» ..... 52
Фотография В.Х. Одена ..... 53
«Сквозь безразличие мира...» ..... 55
Три площади ..... 56
Будда (II) ..... 58
«Поговорим о велосипедах...» ..... 60
«И всегда желанье уехать...» ..... 61
«Были не морды, но лица у лошадей...» ..... 62
«Всегда очень прямо...» ..... 64
«Эти страшные зимы...» ..... 65
Арка Септимия Севера ..... 66
Встреча ..... 68
«Новый год в незнакомом городе...» ..... 69
Сорок пять
1. «Зима затянулась, давно надоевший снег...» ..... 70
2. «Когда я родился, мир был совсем другим...» ..... 71
3. «Все прочее было круглым...» ..... 72
4. «Еще были живы те, кто помнил...» ..... 73
5. «Я смотрю в окно...» ..... 74
На Авентинском холме ..... 75
Поезд во Франкфурт ..... 77
«В зеркало видишь женщину...» ..... 78
Лебедь ..... 80
Осеннее радио ..... 82
Памятник «Пехотному полку принца Карла...» ..... 84
Чужая жизнь ..... 86
Дождь, автострада, Чайковский ..... 88
Свет за деревьями ..... 90